



БОЛЬШАЯ ПРОЗА
ДИНЫ РУБИНОЙ

Часть первая
СЕРЕДИНКИ

Глава 1

НОУ-ХАЛЯУ

Две любимые песни есть у Изюма: про чёрного вóрона и про сизого голубка. Да их каждый знает: *Си-и-изый, лети-и, голубо-о-о-к, в небо лети голу-бо-о-е... Ах, если б крылья мне тоже пожаловал бог, я-а б уле-тел за тобо-ою...*

А про ворона иносказательно так: *А ну-ка, па-рень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись! Чёрный ворон, чёрный ворон, чёрный во-рон переехал мою маленькую жизнь.*

Такая вот занятная орнитология...

А если вдуматься: выходит, несчастный ворон всю горечь горькую народной души в себя вобрал, всё яростное омерзение? А сизый голубок, тот — просто дух небесного простора, вестник несбыточной воли, даром что серит где ни попадая?

— Это ж как птице обидно, ворону-то, — поясняет Изюм.

— Да ладно тебе! — отмахивается Надежда. — Ты видал, какие они тут летают? Я когда по грун-товке еду, близко их вижу, они прямо над маши-ной ухают: зловещие, размах крыльев, как у пте-

8 родактиля, и оперенье тусклое и нехорошее такое, просто жуть!

Это соседские посиделки на веранде Надежного дома. Там у нее стол стоит дубовый-помещичий, явно старинного боровского семейства имущество, у Бори-Канделябра прикуплен и накрыт тканой скатертью, привезенной аж из Иерусалима; дружская работа, говорит Надежда и не забывает уточнить: «не русская, а дружская», будто Изюм должен непременно запомнить это слово: «друзы» — вот, тоже народ.

А в Иерусалиме живет эта, как её... ну писательница эта, к которой Надежда в гости ездит и привозит оттуда разные штуковины Востока: медную турку, бронзового (тяжеленного!) козла с витыми острыми рогами, янтарные чётки — возьмёшь их, они переливаются в пригоршню тёплой виноградной гроздью. Или вот ту же скатерть.

Изюм почтительно проводит ладонями по плотной и лоснистой, как новенькая кожа, материи — вся она сплошь в лошадях да всадниках: скачут они, скачут, лук натягивают, целятся в лань, а та шею гнёт до земли в бесконечном, неуловимо женском изнеможении...

Ну, это когда Надежда пускает на свою веранду. Может и не пустить: поднимет от стопки листов свою рыжую копну, блеснёт очками, прям как Берия, и бросит: «Занята — работаю — сгинь!» Она вообще женщина с характером. Редактор в большом издательстве, с писателями хороводится, и эти самые писатели в её рассказах — то ли

дети малые, то ли тепличные растения, то ли буйно помешанные. Надежда, когда заходит разговор, имён обычно не называет, любопытство праздное пресекает, очень строга; обронит только: «некий известный автор». И тогда похожа на старшую медсестру психдиспансера или на главного садовника в курортном ботаническом розарии. Куда-то она ездит на встречи с ними, носится с их... даже не книгами, а чем-то вроде рассады: «рукописи» называются, и из них, как из луковицы — тюльпан, книги ещё только надо выращивать.

Книжки вообще-то Изюм уважает, кое-какие в детстве почитывал, любит о них порассуждать:

— Костику по программе надо «Хоббита» читать, — делится он с Надеждой. — Я в шоке! Он в третьем классе!

— Да ладно тебе, «Хоббит» — хорошая книжка.

— Хорошая?! Ты знаешь, какие там твари?! Я хочу спросить: где Пастернак?!

Натыкается на изумлённое лицо Надежды и суетливо себя поправляет:

— ...в смысле, Мамин-Сибиряк! ГДЕ САВРАСКА? Я Костику говорю: «Сынок, давай почитаем про Незнайку!» А он мне: «Пап, ты что, травы обкурился?»

Изюм — ближайший Надеждин сосед через забор. Он рукастый и помогливый, когда в настроении. Когда в настроении, он и собеседник забавный, и насмешит кого угодно до икоты. Идеи и разные технические усовершенствования мира прут из него, как дрожжевое тесто из кастрюли.

10 — Петровна! — говорит. — Раньше мне всё было пофиг. Теперь я не пью, не курю, похудел на восемь кило, и мне всё стало не пофиг, — на трезвую-то голову. Вот, думаю, неплохо бы миллион десять заработать.

— Интересно, на чём бы это? — Надежда насмешливо посматривает поверх своих очков, спущенных на кончик симпатичного носа.

— Ну-тк!.. Мозгами надо шевелить, нащупать какое-нибудь... ну-халяу, до чего никто ещё не допёр! Петровна, ты вот ночью, когда в туалет идёшь, сразу тапочки находишь?

— Да я их и не ищу. Мне главное очки не искать, а то сразу проснусь. Можно и босиком, на ощупь, — там пара шагов до туалета. И знаешь, я наострилась: когда ложусь, оставляю тапочки ровнёхонько перед кроватью, встаю и ноги ставлю прямо в то же место.

— Ну, у меня так не получается. И я вот что придумал: надо простегать тапки светящимися нитями. Фосфоресценция — если знаешь слово. Проснулся, а они в темноте сияют...

Или прибежит вечером в самый разгар снегопада, весь облеплен снежной жижей, топают по ступеням веранды и дышит, как довольная дворняга:

— Петровна! Ну-халяу! Страшная экономия времени! Если на твои ворота приделать дополнительные петли вверху, можно домкратом поднимать их из нижних петель в верхние. И тогда не нужно чистить снег! Это ж пустейшее занятие — снег чистить!

Нынешней зимой идеи и усовершенствования одолевают его преимущественно по ночам. Каждое утро, как собака — хозяину, приносит он на крыльцо Надежды очередной продукт бессонницы.

Спит он плохо ещё с позапрошлого месяца: отравился на поминках Гоголя.

Нет, ну эту историю надо в деталях живописать, страстным и убедительным голосом самого Изюма:

— У меня тут одноклассник помер, Гоголь. Гоголь — это потому, что у него носяра значительный. Ну, звонят — на поминки ехать. И такая неохота мне, Петровна! Ведь что такое хорошие поминки? Все ужрутся и давай шапито крутить! А я, как пить бросил, у меня даже чирьи на жопе зарастать стали, и печень не жужжит, и язык поострел.

Но — поехал. Гоголя всё-таки жалко... А они, такие, давай: выпей да выпей. И одноклассники, и жена его. А я и не знал, что водка у них тульская палёная, по семьдесят пять рэ. Маханул раза два этого пойла, чувствую: звук гаснет, зрение заскучало... и кровь будто замёрзла во всех протоках. Мирообозрение, короче, поблекло: ни бэ, ни мэ, ни куролесу...

Ну, «Скорую» вызвали. Промыли желудок, ввели глюкозу. Хотели везти меня в наркологическую больницу. Кое-как отбился, отказ подписал. И два дня валялся у гоголевской вдовы... В общем, чуть не ушёл за школьным товарищем. Главное, спать не могу! В голову за полсекунды лезет миллиард мыслей. Блллин-блинович! — думаю, — это пипец, сейчас гением сделаюсь!

12 Ну, пошел я на приём в нашу боровскую больничку, к психиатру. Почему — к психиатру? А к кому ж ещё? Не сплю, мысли прут и прут. Тот посмотрел на меня: «Давно бухаем?» По коленке — херак! — молотком и... «У вас, — говорит, — наблюдается некая активность мозга». — «Точно, доктор: у меня мозг как самолёт: я только прикорнуня и — *хоба!* — цветные мысли стеной прут!»

«А вы махните водочки, — говорит. — Рюмку за едой».

И тут, Петровна, понял я, что он сам — синяк, и никакой от него клятвы Гиппократа. Вернулся домой, полез в Интернет, а там то же самое: примите водочки. Да не хочу я пить! Теперь представь: тело устало, глаза, как у Вяя — пудовые, а в мозгу идей — на три конструкторских бюро.

Слушать Изюма можно с заткнутыми ушами, жестикуляцией он дублирует каждое слово своих монологов, как актер японского театра «Кабуки»: простирает обе руки (если хочет призвать к сочувствию), прижимает ладони к печени (подчеркнуть высокую степень ответственности), плавно поводит подбородком справа налево... и так далее. В нём, как в императоре Нероне, умер актёр, но не великий, а поселковый, с подмоченной репутацией и вчерашним перегаром. Однако даже и так от Изюма невозможно глаз отвести: он жестикулирует даже бровями, а брови наведены от рождения первоклассным гримёром: чёрные, длинные, как приподнятое крыло, — это брови любимой наложницы султана. И голосом он владеет до-

стойно: сочный такой баритональный тенор, с некоторым пережимом и дрожью в минуты восторга или возмущения.

— Тут ночью, оказывается, интересные передачи идут по телику. Но я их смотреть не могу: телик — справа от койки, шея затекает. Так я что: надыбал сайт с радиоспектаклями, лежу и слушаю... Постановки всё старые, без модной придури, артисты не портянку жуют, говорят тренированными голосами. Я слушаю, слушаю... и погружаюсь. Раза два аж с кровати слетел: там у них речь такая устрашающе-внятная, — представляешь, как в мозгу преобразается? И какие сны потом снятся! Тут вот «Ревизора» прослушал — это коллапс и ужас!

— Ужас? — рассеянно уточняет Надежда, вытирая мытую чашку полотенцем. Вот человек: сервиз-то кузнецовский, у Бори-Канделябра за бешеные деньги купила, а запросто ставит его на стол буквально каждый вечер, и прямо вот так невозмутимо чай пьёт и соседа угощает! Без всякого благоговения. — Почему же — ужас? Там же вроде всё смешно?

— Смешно там? А где ужас?

— Может, ты «Мёртвые души» слушал?

— Нет, то был «Ревизор», — убеждённо говорит Изюм.

— Так в «Ревизоре» всё смешно.

— Ну, знаешь, кому смешно, а кому не очень. Там в хлебе нос нашли!.. Чего ты ржёшь! — возмущается он, рассматривая зашедшуюся в конвульсиях смеха Надежду. Но руки держит на коленях,

14 боится жестикуляцией смахнуть со стола дорогие предметы чаепития. — Ты что, не помнишь эту великую книгу?! Я от страха чуть не обоссался: ночь за окном, даже псы не брешут, а мне прямо в уши задушевный голос: нос в хлебе! Живой, шевелится!!! Ты что?! Гоголь, это же — кровавый нос в хлебе!

Из себя Изюм, как посмотришь — пузатенький горбоносый крепыш с близко поставленными серыми глазами. Когда увлечённо что-то рассказывает, глаза выпучивает и доверчиво моргает, а ресницы девчачьи, пушистые; опускает их — они как веера.

Рот он старается поменьше разевать, ибо у него там, сам говорит: «последний день Пномпеня».

Лет десять назад, когда был богатеньким («когда у меня был майонезный цех!»), он начал было строить импланты, но по жизненным показаниям не довёл дело до конца, и теперь вместо некоторых зубов у него пеньки. И потому, даже смеясь, он старается делать губы жопкой. Надежда бы и не заметила, но когда он признался, заглянула-таки в пригласительно разинутую пасть и пеньки эти узрела.

Изюм — брехун отчаянный, *изюмительный*. Куда ни кинь, где ни копни, отовсюду лезет его суетливая брехня: брехня художественная, упоительная, вдохновенная, забывчивая и дармовая.

На днях, заглянув к нему по очередному ремонтному делу, Надежда углядела под шкафом электронные весы. Не поленилась, встала на карачки, вытянула их, обмахнула подолом пыль

и взгромозилась; а там — минус одиннадцать кэ-гэ от правдивого веса.

— У тебя даже весы брешут! — заявила она и рукой махнула, своей пухлой величавой рукой.

Надежда вообще-то вся целиком женщина величавая: высокая, полная, и лицо — так у рыжих бывает — белое и гладкое, как на портретах разных императриц.

— Императрицы?! — презрительно шурясь, отвечает она Изюму. — Да они все были немки, Изюм, все — немчура худосочная. А я — мордва, прикинь? Настоящая ядрёная мордва-мордовская, плоть от плоти родной картофельной ботвы...

И оба хохочут. Посмеяться она тоже любит — когда в настроении.

Но главное, они — Надежда и Изюм — дружба по животной теме: у обоих собаки, а у Надежды ещё и кот Пушкин.

Пёс у Надежды ангельской кротости, и оно понятно: лабрадор. Однажды, в начале счастливой совместной жизни, она повезла своего Лукича на какую-то собачью тусовку. Не то чтоб уж прямо наград возжаждала, а вот, покрасоваться хотелось: ну, такой он был распрекрасный мальчик, с блестящими персидскими глазами.

Получив двусмысленную запись «перспективный лабрадор», Надежда на всю эту собачью аристократию обиделась, и участие в смотрах собачьих статей прекратила. Перспективный лабрадор, вообще-то белый (но на солнце — с редким золотисто-луковым отливом), остался обаятельным